Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин

Культурные люди

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин
Культурные люди

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=7448650
Культурные люди:

Аннотация

«…Я сидел дома и, по обыкновению, не знал, что с собой делать. Чего-то хотелось: не то конституций, не то севрюжины с хреном, не то кого-нибудь ободрать. Ободрать бы сначала, мелькнуло у меня в голове; ободрать, да и в сторону. Да по-нынешнему, так, чтоб ни истцов, ни ответчиков – ничего. Так, мол, само собою случилось, – поди доискивайся! А потом, зарекомендовавши себя благонамеренным, можно и об конституциях на досуге помечтать…»

Содержание

I. Культурная тоска 4
II. Продолжение тоски и появление прокопа 16
III. Между своими 30
IV. Поехали 46
V. Тайна, облекающая личность восточного человека, слегка разъясняется 61

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин
Культурные люди

I. Культурная тоска

Я сидел дома и, по обыкновению, не знал, что с собой делать. Чего-то хотелось: не то конституций, не то севрюжины с хреном, не то кого-нибудь ободрать. Ободрать бы сначала, мелькнуло у меня в голове; ободрать, да и в сторону. Да понынешнему, так, чтоб ни истцов, ни ответчиков – ничего. Так, мол, само собою случилось, – поди доискивайся! А потом, зарекомендовавши себя благонамеренным, можно и об конституциях на досуге помечтать.

Будет ли при конституциях казначей? – вот в чем вопрос. И вопрос очень существенный, ежели принять в соображение, что жизненные припасы с каждым годом делаются дороже и дороже, а потребности, благодаря развитию культурности, увеличиваются не по дням, а по часам. Черта ли и в конституциях, ежели при них должности казначея не полагается! Ободрать… вот это – бесподобно! Вот при «Уложении о наказаниях» нет казначея – поэтому оно ни для кого и не лестно. Но, может быть, поэтому-то именно оно и дано нам.

Я человек культурный, потому что служил в кавалерии. И еще потому, что в настоящее время заказываю платья у Шармера. И еще потому, что по субботам обедаю в Английском клубе. Приду в пять часов, проберусь в уголок на свое место и ем, покуда не запыхаюсь. Прежде, бывало, я разговаривал, а нынче – только ем.

Нынче в Английском клубе чиновники преобладают. Длинные, сухие, прожженные. Шепчутся друг с другом, судьбы, по секрету, решают, а на лбу между тем написано: чего изволите? Не раз случалось заговаривать: а принеси-ка, любезный… Посмотришь – ан у него звезда сбоку пришпилена. Настоящих культурных людей, утробистых, совсем мало стало, да и те, которые остались, вконец развратились. Едят рассеянно, за чиновниками глазами беспокойно следят, словно думают: что-то они с нами сделают? И глаза какие-то подлые, ласковые у всех делаются, когда с ними какой-нибудь чиновный изверг невзначай заговорит…

Говорят, будто утробистые люди частью в Москву перебрались, частью у себя, по своим губернским клубам, засели. Там будто бы они не только едят и пьют, но и разговаривают. Только об губернаторах говорить не смеют, потому что губернаторы строго за этим следят. А о прочих предметах, как-то: об икре, о севрюжине и даже о Наполеоне III – говори сколько угодно. Говорят, был даже такой случай: один утробистый взял да вдруг ни с того ни с сего и ляпнул: конституций, говорит, желаю! Туда, сюда – к счастью, губернатор

знал, что малый-то выпить любит, стало быть, человек благонамеренный.

– Пьян, старик, был?

– Точно так, ваше превосходительство, заставьте богу за себя молить!

– Ну, бог простит – ступай! Только вперед, коли чувствуешь, что пьян, сейчас беги домой и спать ложись!

– Рады стараться, ваше превосходительство!

И таким образом, вся эта история измором кончилась. А будь-ка губернатор построже, да взгляни на дело с точки зрения «внутренней политики» – ну, и быть бы бычку на веревочке! Фюить!

Уж не удрать ли, в самом деле, в губернский город Залупск? Хорошо там. Утром встал, не торопясь умылся, не торопясь чаю напился – гляди-ка, уж двенадцать часов на дворе. Походил, посидел, покурил, посвистал, в окошко поглядел: выкупные-то свидетельства, кажется, еще не все в расходе? – Завтракать подано! – гудит сзади холопский бас. Позавтракал, опять походил, покурил – одурь взяла: эй, кто там! тройку велеть заложить! И – ох! у – ах! эх вы, соколики!.. бесподобно! Воротился – ха! да никак уж обед на столе! В комнатах тепло, светло; щи, солонина с хреном, поросенок с кашей… по-русски! И как только ложкой стукнул – сейчас и гость на пороге. Ежели настоящий человек не наклюнулся, так секретарь какой-нибудь забежал. И все-то он тебе расскажет: кто кому рукой плюху дал, кто кого калошей по

лицу смазал. Заслушаешься и не заметишь, как на часах девять пробьет. В клуб, сударь, в клуб! А там уж все в сборе, и все об давешних плюхах рассказывают. И один по одному – в буфет да в буфет. Постепенно да постепенно – и вдруг… конституция! А что ж такое, что конституция! Коли ты пьян да благонамерен – Христос с тобой! Ступай домой, ложись спать – сном все пройдет.

Ах, хорошо!

Хорошо-то, хорошо – да полно, так ли? Было такое времечко у нас в Залупске, было – да не прошло ли оно! Недаром мой друг, капитан Копейкин, пишет: «Не езди в Залупск! у нас, брат, столько теперь поджарых да прожженных развелось – весь наш культурный клуб испакостили!» Да; развелись-таки и там. Ищут, нюхают, законы подводят. В преферанс с тобой играют и через час у тебя же в квартире поличного ищут. И в клубы заползли: сперва один, за ним другой, а потом, глядишь, и в старшины попадать начали. Брякни-ка при нем: «конституция!» – а он тебе: вы, кажется, существующей формой правления недовольны?.. А мне что! Форма правления – эка невидаль! Я так… сам по себе… проваливай, брат, проваливай!

То-то! «проваливай»! Язык-то храбр, коли заочно, а как до дела дойдет – пожалуй, он и не всякое слово выговорит. Иное ведь слово прямо к отягчению служит, – попробуй-ка, выговори его! Да коли при этом ты еще не пьешь, да на дурном счету состоишь, сколько тебе, ради этого слова, слез по-

том пролить нужно будет, чтоб прощенье себе испросить!

И надо сознаться, что во всем мы сами, утробистые, виноваты. Еще в то время, когда «прожженные» только что нарождаться в губерниях стали, – тогда надо было меры принимать. Явился прожженный – и с богом! Живите, сколько вас есть, промежду себя. Играйте друг с другом в преферанс, ездите друг к другу в гости, угощайтесь, упивайтесь, прелюбодействуйте! Но в наш культурный клуб – ни-ни! Валяй, братцы, им черняков, чтоб вперед неповадно было! И жили бы прожженные особняком, словно прокаженные, а не стали бы в культурные гнезда залезать и культурных птенцов оттуда таскать. А культурные люди об конституциях бы разговаривали. А то на-тко! скоро, пожалуй, и об конституциях разговаривать некому будет: по одному, по одному – всех перетаскали!

Да, нынче утробистый человек гляди в оба, несмотря на то что ему благосклонно присвоено название культурного. Пришел ты в клуб – проходи бочком, не задеть бы вот этих двух выродков, которые по секрету об тебе между собой суждение имеют. Ты его заденешь, а он тебя смягчающих обстоятельств лишит, либо сына твоего живьем задерет. Сторонись же, иди бочком к буфету, пей молча водку и молча закусывай, потому что ежели ты разинешь рот – это может вон тех двух выродков оскорбить, которые, тоже по секрету, рассуждают, какому роду истребления тебя подвергнуть! И таким образом, никого не задевши, садись, засучивай рука-

ва и ешь. Ешь молча, и когда еда начнет одолевать тебя, то прилично вздыхай.

Много виноваты утробистые люди в печальной судьбе своей, но, с другой стороны, нельзя и осуждать их строго. Прожженные люди, именно как внутренностные паразиты, проползли в самое нутро культурных людей. Я помню, как в первый раз к нам в Залупск действительный статский советник Солитер явился. Всё благосклонности просил, всю надежду на земскую культурную силу полагал, да и об конституциях сам же первый заговорил. Да еще как заговорил-то! С хохотом, с визгом, со свистом, со слюною… В лицах форму правления представлял, песни скоромные пел, брудершафты предлагал! Ну, культурный человек и смяк. Видит, что малый разухабистый: и сплясать, и спеть, и соврать – на всё первый сорт. «Милости просим! прошу покорно! запросто! отобедать! да вечерком… к жене! Да в клуб, ваше превосходительство, в клуб!» Ну, и пустили козла в огород. А Солитер между тем, не будь прост, пошутил-пошутил, да и цап-царап! «Вы, кажется, формой правления недовольны?» Ах, прах те побери! Я так… сам по себе… а он: форма правления!

А жены наши еще больше виноваты. Легкомысленны наши жены, ах, как легкомысленны! Прожженные так и вьются около них, так и шепчут, и шепчут. У иной от этого шепота и грудочка поднимается, и глазки искрятся, и личико полымем пышет. – Ты что ж, душенька, мсьё Солитера к нам не при-

гласишь? – Солитера! ах, сделайте милость! Господин Солитер! милости просим! запросто! Отобедать! вечерком… к жене!

Нет, совсем у нынешних культурных людей ни esprit de corps,[1] ни esprit de conduite[2] нет. А прежних утробистых представителей культуры, с жирными кадыками и пространными затылками, которые, завязавшись по горло салфеткой, ели и «независимо» сквернословили, – нет и в помине. Бывало, соберутся в каре вокруг своих вольностей (так, в старину, крепостное право называлось), да уставятся лбами – пушками их не прошибешь! А нынче какой-нибудь действительный статский советник Солитер – и тот всё в один момент развратил. Жен и дев перепортил, птенцов расточил, старцам – показал фигу…

Поэтому нынешний культурный человек об вольностях уж не думает, а либо на теплые воды удрал, либо сам в «Солитеры» норовит. Только и слышишь окрест: да отчего же не доверяют нам? да попробовали бы! да нас только помани! да мы… Что ж, если у вас такая охота есть, – рапортуйте, любезные, друг на друга, рапортуйте!

Фу, подлость! Живешь-живешь – и все на положении грудного ребенка находишься! Мне вот пятьдесят лет, а я даже об конституциях вволю наговориться не могу! Разве я что-нибудь говорю! Переменить, что ли, я что-нибудь хочу!

---

[1] сословного духа.

[2] умения вести себя.

Да мне – Христос с вами! Я так… сам по себе… разговариваю…

Хочешь сказать ему, этому Солитеру долговязому: да вы что, в самом деле, милостивый государь! да я сам государя моего дворянин! я в кавалерии, государь мой, служил! И хотя в походах не бывал, но на походном положении, и даже в лагерях… да-с! Хочешь сказать все это – и молчишь. Потому что всюду, во все клубы, во все щели клубов – везде Солитеры наползли и везде соглядатайствуют. Смотрят и улыбаются, словно вот говорят: ты думаешь, мы не знаем, что у тебя в затылке шевелится? Всё, мой друг, знаем, и при случае…

Вот это-то «при случае» и сбивает культурную спесь. Так оно ясно, несмотря на внешнюю таинственность, что даже клубные лакеи – и те понимают. Прежде, бывало, – кому первый кус? – ему, культурному человеку, кому и по всем утробным правам он следует. А нынче на культурного человека и смотреть не хотят – прямо ему, действительному статскому советнику Солитеру, несут. Ну, и опешили культурные люди. – Позвольте, я вашему превосходительству рапортовать буду? – Рапортуй, братец, рапортуй!

Подлость, подлость и подлость! Скоро мы и не то услышим. «У меня, ваше превосходительство, сын превратными идеями занимается – не прикажете ли его подкузьмить? – отрапортует культурный человек…» Фуй, мерзость!

Да, плох ты, культурный человек! совсем никуда не годишься! Никто с тобой не разговаривает, везде тебя обносят,

жене твоей подлости в уши нашептывают… скучно, друг! И дома у тебя тоска, и в клубах твоих тоска, а в собраниях твоих (бывших палладиумах твоих вольностей) – жгучее, надрывающее запустение царствует. Не метено, не чищено, сыро, угарно, но… рапортуй, мой друг, рапортуй!

И именно с тех пор ты и смяк, как тебя культурным человеком назвали. Культурность обязывает. Теперь и ты, и действительный статский советник Солитер – вы оба одно дело делаете. Он действует, а ты содействуешь. А ты думал – как? Ты, может быть, думал, что Солитер станет распинаться да душу за общество полагать, а ты будешь лежать да благородным манером в потолок плевать? Так разуверься, голубчик! Это в те времена такие порядки были, когда ты еще чистопсовым назывался, а теперь шалишь! – теперь ты культурный человек стал! Солитер будет действовать, а ты – содействуй! Рапортуй, братец, рапортуй!

И за всем тем никогда никто в целом мире так не тосковал, как тоскуем мы, представители русской культуры. Мы чувствуем, что жизнь уходит от нас, и хотя цепляемся за нее при пособии «содействия», но все-таки не можем не сознавать, что это совсем не та жизнь, которой бы мы, по культурности своей, заслуживали. Хотя предки наши назывались только чистопсовыми, но они многого не понимали из тех подлостей, которые нам, как свои пять пальцев, известны.

И я уверен, что в большинстве их такие, например, слова, как «содействовать», «рапортовать» – вызвали бы во вре-

мя оно только недоумение. Мой прадед, если б при нем употребили эти выражения, наверное, воскликнул бы: «Я, ваше превосходительство, государю моему верный слуга, но не лакей-с. Я сам бунтовал-с… в пользу законной власти-с! Я Анну Леопольдовну, регентшу-с, в одной сорочке из опочивальни вынес – и был за то деревнею в пятьсот душ награжден-с! Извольте, сударь, идти вон!» А дедушка мой сказал бы: «Я в Ропше, государь мой, был и оттуда, на сером аргамаке, до Зимнего дворца за великою государыней следовал-с… извольте идти вон!» Даже отец мой – и тот бы ответил: «Я сам заблуждался-с! и хотя принес в том чистосердечное раскаяние, но не содействовал… нет, не содействовал-с!» И все они почувствовали бы себя оскорбленными и будировали бы… Конечно, будировали бы до тех пор, пока им Станислава на шею не прислали бы. Но не за содействие-с, а за благородно-верный порыв чувств-с!

А я, правнук, внук и сын, – что я скажу? Я могу сказать только, что я культурный человек и что в этом качестве не имею возможности даже «чистосердечного раскаяния в том принести». Ибо я даже и не заблуждался никогда – нет, никогда! Ни заблуждений, ни истины, ни превратных идей, ни идей благонамеренных – ничего я не знаю! Стало быть, я могу только содействовать. Содействовать – вот моя специальность; не делать, не производить, не распоряжаться, а только содействовать. Вот почему многие, боясь увлечься этой специальностью, бегут на теплые воды и там влачат остатки

культурного существования.

Не однажды меня интриговала мысль: каким это образом русский культурный человек вдруг словно из земли вырос?

Всё были чистопсовые, а теперь культурными сделались. И даже заслуги особенные выдумали, которые об культурности несомненно свидетельствуют. Я, говорит, из тарелки ем, а Иван мой из плошки; я салфеткой утираюсь, а Иван – стеклом. Вот почему я и называюсь культурным человеком!

Но едва я притрогивался к вопросу: действительно ли еда из тарелки, а не из плошки составляет непререкаемый признак культурности? – как передо мною вставал другой вопрос: да неужто это может кого-нибудь интересовать? и убудет ли от того хоть сколько-нибудь той бесконечной тоски, которая день и ночь гложет культурного человека, несмотря на то что он ест из тарелки, а не из плошки?

Тоска, тоска и тоска! С каким-то отчаянием обращаешься к прошлому: прошлое! прошлое! воротись! И знаешь, что попусту надрываешься, и все-таки кричишь: воротись! воротись! воротись!

Сознавать себя культурным человеком и в то же время не знать, куда деваться с этою культурностью, – вот истинно трагическое положение! Ну, что я с собой предприму? Куда, куда я пойду… ну, хоть сегодня вечером? Всё, что можно было, в пределах русской культурности, видеть и совершить, – всё это я уже видел и совершил. Жюдик – видел, Шнейдершу – видел, у Елисеева, и на бирже, и на Невском –

был. Повторять то же самое – ну, просто противно, да и всё тут. Ведь и для культурности есть пределы, за которыми даже право «содействия» становится бессильным оживить человека. И в «содействии» – не бог знает прелесть какая: не все же «содействовать» – захочется когда-нибудь и «действовать». Где? как? А между тем ни смерть, ни болезнь – ничто нас не берет; жить, жить надо, не потому, чтобы хотел жить, а потому, что встала у тебя жизнь на дороге, и как ты ей ни кричи: сторонись! – она все стоит да подманивает. Встанешь утром и глядишь испуганными глазами в лицо грядущему дню. А в голове так и стучит: чем? ну, чем наполню я его?

Итак, я сидел дома и не знал, что делать с собою. Впереди предстояло одно из двух: или в балаганы идти, или в тайное юридическое общество проникнуть и послушать, как разрешается вопрос о правах седьмой воды на киселе на наследование после единокровных и единоутробных.

– Господи! да ведь это отрава! – вырвался из груди моей вопль.

II. Продолжение тоски и появление прокопа

Дело было в половине апреля, как раз в светлый праздник. Я смотрел из окошка на улицу и любовался на истерическую сумятицу, происходившую в природе. Воздух был наполнен неизобразимым мельканием; густая белесоватая кашица кружилась и металась перед глазами, отделяя из себя крупные-крупные снежины, мокрые, разорванные, которые тяжко шлепались об оконные стекла. На наружных подоконниках уже образовались порядочные груды белой массы, рыхлой и источенной, как тающий сахар; мостовая, два часа тому назад серая, начинала белеть; темные ряды домов, мокрых, ослизлых, загадочно глядели, сквозь снежную сеть, своими бесчисленными черными окнами, словно тысячами потухших глаз. Небо давило и, несмотря на первый час дня, больше и больше заволокало город ранними сумерками. Но улица, наперекор стихиям, все еще усиливалась удержать праздничную физиономию. Стрелой мчались щегольские кареты, унося заключенных в них звездоносцев; между ними мелкой рысью сновали извозчичьи пролетки, с скрюченными под зонтиками чиновниками; на тротуарах дворники и мастеровые христосовались с бабами в душегрейках. Но вот, наконец, ударил такой снежный ливень, что вдруг праздн-

ничный гул смолк. Улица опустела как бы волшебством; еще раз взвизгнула дверь в кабаке напротив и захлопнулась; даже ликующие столоначальники – и те куда-то пропали.

Я стоял у окна и припоминал. Было время, когда и я в этот день метался по улицам. Приедешь, бывало, в один дом, подаришь швейцару целковый, распишешься и что есть мочи спешишь в другой дом, где тоже подаришь целковый и распишешься. Да в мундире, сударь, в мундире! Встретишь, бывало, на улице такого же поздравителя, остановишь, выпучишь глаза:

– Были?

И он тоже выпучит глаза:

– Был; а вы были?

– Был.

И летишь дальше.

А нынче вот сижу дома и глазами хлопаю. Извозчика, пожалуй, и не мудрость нанять, да ехать-то некуда. Некуда и незачем.

Прежде я потому ездил, что было у меня такое убеждение: в Петербурге поздравлю, зато в своем месте наверстаю. Я даже нарочно в Петербурге периодически появлялся, чтоб претерпеть и впоследствии наверстать. Ну, и меня принимали, потому что все мы в то время, от мала до велика, одним товаром – крепостным правом – торговали и, стало быть, все друг дружке поручителями были. Мерзок я был, низкопоклонен, податлив – это так, но, по крайней мере, я знал, что у меня

есть совершенно реальный стимул (возможность наверстывания), который двигает моими действиями. Впоследствии обстоятельства заставили меня сознать, что это был стимул фальшивый – прекрасно! Я понял это и, волею или неволею, отказался от идеалов наверстыванья, которые обуревали меня в бывалое время. Но почему же, оставив прежние стимулы, я не усвоил себе новых? Для чего я остался жить? для того ли только, чтоб представлять собой образчик отечественной культурности – велика невидаль!

Я знаю, что езди я или не езди, поздравляй или не поздравляй, – я все-таки ничего не наверстаю, потому что наверстать негде. Хотя же действительный статский советник Солитер и показывает мне вдали какие-то перспективы, но, право, мне кажется, что он и сам не сознает, в чем эти перспективы заключаются. Следуй, говорит, по моим указаниям, а куда следуй – и сам порядком растолковать не может. Эх, брат! у самого-то у тебя яичница в голове, а тоже других за собой приглашаешь!

Да ежели бы он и мог доподлинно разъяснить, куда и как нужно следовать, – разве я могу туда идти? Да и не только туда – просто никуда я идти не могу. Все, все для меня заперто. По судебной части я истца от ответчика отличить не могу – чьи же я интересы защищать или опровергать буду? По части народного просвещения я не знаю, кто кого кормил, волчица ли Ромула, или Ромул волчицу, – как же я на экзаменах баллы ставить буду? По части финансов я знаю: дери шибче, а в

случае недобора – бесстрашно заключай займы! – что же касается до того, как и на какой бумаге ассигнации печатаются и почему за быстрое отпечатание таковых в экспедиции заготовления государственных бумаг дают награды и ордена, а за отпечатание в Гуслицах на каторгу ссылают – ничего я этого не знаю. Вот разве по сыскной части… ну, нет, Солитер! этому пока не бывать! Хотя по этой части и действительно никаких познаний не требуется, а только культурность одна, да я ведь еще не забыл, что мой прадедушка регентшу Анну Леопольдовну в одной сорочке из опочивальни вынес! Нет, не позабыл! Ибо ежели я самолично ничего не совершил, даже «чистосердечного в том раскаянья не принес», то прадед мой…

И откуда нынче такие действительные статские советники развелись, которые настоящего не дают, а всё перспективы показывают! И прежде бывало не мало действительных статских советников – но какая разница! Назывались они не Солитерами, а Довгочхунами, Федоровыми, Ивановыми, Семеновыми, пили, ели, по гостям ездили, сами балы делали и откупщиков балы заставляли делать, играли в клубах в карты и в свободное от занятий время писали: утверждаю, утверждаю, утверждаю. А Солитер пишет: разоряю, разоряю, разоряю!

И ничего. Разоряет – но не созидает, расточает – и сам стоит невредим, развращает – и состоит членом общества распространения нравственности. Кто эту тайну поймет?

Есть один ресурс, который выручает его. Это – лганье и показывание фальшивых перспектив. Он лжет неуставаючи, лжет – как рязанский дворянин, когда начинает рассказывать, какие у него в оранжереях персики при крепостном праве росли. Недавняя чистопсовость и до сих пор выступает наружу в нем. Он лжет и сам нагло прислушивается к своему лганью. И верит. Верит, что со всей тройкой и с экипажем в одну прорубь провалился, а через двадцать верст, на тех же лошадях и в том же экипаже, из другой проруби выскочил.

И многие до сих пор верят показываемым им перспективам. Я убежден, что Прокоп, например, даже в эту минуту мечется, как озаренный, и всё поздравляет, всё поздравляет. И все потому, что думает: приеду домой – там наверстаю! И так, с незапамятных времен, из года в год, у него ведется: чем больше получает кукишей, тем больше надеется, тем шибче поздравляет.

Уже неделю тому назад я прочитал в газетах, что он в Петербург прибыл – а ко мне до сих пор ни ногой. Вместе Шнейдершу слушали, вместе в Географическом конгрессе заседали, вместе по политическому делу судились – и вот! Чай, всё перспективы высматривает, связи поддерживает, со швейцарами да с камердинерами табаки разнюхивает! Чай, когда из Залупска ехал, – хвастался тоже: я, мол, в Петербурге об залупских нуждах буду разговаривать! Разговаривай, мой друг, разговаривай… с швейцарами!

Кому интересны залупские нужды, культурные и не куль-

турные? Вот кабы ты сообщил секрет, как к празднику нечто заполучить или как такому-то ножку, ради высокоторжественного дня, подставить – ну, тогда бы мы тебя послушали. А то: залупские нужды! – ишь с чем подъехал! Есть у вас в Залупске Солитер – и будет с вас. Он вас разберет: и стравит друг с другом, и помирит, если ему вздумается. Zaloupsk! Qu'est-ce que c'est que Zaloupsk?[3]

И вот, ради бесплодных разговоров с швейцарами, Прокоп даже об старом собутыльнике позабыл. Это ли не черта русской культурности! Сегодня приятель, а завтра разрешил ему Солитер за каблук своего сапога подержаться – он уже от вчерашних друзей рыло воротит. Я, говорит, нынче наверху, у самого каблука его превосходительства, стою – сверху-то мне перспективы виднее! Вы, лягушки, квакайте себе в болоте, а мы с его превосходительством сидим, вроде аистов на пригорке, да и нагрянем! Ах, аист, аист! на кого нагрянешь-то ты, птица ты бестолковая! Ведь, чай, всё на своих, на чистопсовых же, от них же и сам ты! Да и болото-то, смотри, уж пустым-пустёхонько стоит: скоро и зацепить там нечего будет!

Мне сделалось и досадно, и жалко. Милый Прокоп! Глупглуп, а культурность свою очень тонко понимает. У меня, говорит, в деревне и зальце в домике есть, и палисадничек, и посуда, и серебрецо, и сплю я на матраце, а не на войлоке – сейчас видно, что культурный человек живет! А мужик что!

---

[3] Залупск! что такое Залупск?

намеднись у нас на селе у крестьянского мальчика тараканы нос выели, а у меня, брат, тараканы только на кухне живут! Милый, милый Прокоп! как сейчас вижу, как он в Залупске в клубе, завязавшись салфеткой (неопрятен он, когда ест), сидит: буженины кусок проглотит и слово скажет, еще кусок буженины проглотит и еще слово скажет. И слова всё такие мелкие: течет что-то, плывет, барахтается – и не зацепишь. И вот этот-то человек, у которого тараканы только в кухне живут, – поздравляет, подличает, с швейцарами по душе калякает! И даже когда запросто в клубе сидит – ест, а одним глазком в соседнюю комнату заглядывает! Там, в этой комнате, действительный статский советник Солитер с статским советником Глистом, по секрету, совещаются, а титулярный советник Трихина так и кружится, так и выплясывает перед ними. И жутко Прокопу, и любопытство одолевает. «Уже от Трихины всё выведаю!» – думает он про себя. И действительно, как только Трихина показался в дверях, весь пропитанный Солитеровыми инструкциями, так по столовой уж и раздается язык Прокопа: «Человек! шампанского!»

И для чего он кланяется и поздравляет? для чего выведывает? Спросите его, – он и сам внятно не ответит на этот вопрос. «Подличать, скажет, я не подличаю, это ты врешь, а все-таки…» И так-таки и упрется на этом «все-таки», как будто и бог весть какую оно мудрость в себе заключает…

И мне вдруг так загорелось видеть Прокопа, до того захотелось на затылок его порадоваться, что не успел я как сле-

дует формулировать мое желание, как в дверях раздался звонок, и Прокоп собственной персоной предстал передо мной.

Он был в культурном мундире и в культурных белых штанах; лицо его, напоминавшее морду красивейшего из мопсов, выражало сильнейшее утомление; щеки одрябли, под глазами образовались темные круги; живот колыхался, ноги тряслись.

– Откуда, голубчик? поздравлял?

– Разумеется, поздравлял. Вот ты так и день-то нынче какой, чай, позабыл? Христос воскрес!

Мы перецеловались.

– У заутрени был?

– По обыкновению, мой друг, по обыкновению.

– То-то. В этакий день вольные-то идеи оставить надо.

Прокоп уселся против камина и протянул ноги чуть не в самый огонь.

– Скинул бы ты с себя форму-то, – предложил я, – вместе позавтракали бы. А какое у меня вино! по случаю… краденое!

– Это, брат, только хвастаются, что краденое, а попробуй – опивки простые. Нет, завтракать мне некогда, еще в двадцати местах расписаться нужно, а ты вот что: вели рюмку водки подать – спасибо скажу!

Принесли водки и балыка. Прокоп потянулся, выпил и некоторое время стоял с разинутым ртом, словно водка обожгла ему нёбо. Не знаю, почему ему показалось, что я в него

всматриваюсь.

– Ты что на меня смотришь? узоры, что ли, на мне написаны?

– Помилуй, мой друг! я рад тебя видеть – и только.

– А рад, так и слава богу. Измучился, брат, я. Погодища нынче – страсть! Ездил-ездил, штаны-то белые, замарать боишься – ну, и сидишь распахнувшись, как на выставке. Да на грех, еще происшествие нынче в одном месте случилось… препоганое!

– Что же такое?

– Да приехал я к особе к одной – ну, расписался. Только вижу, что тут же, в швейцарской, и камердинер особы стоит – и угоразди меня нелегкая в разговор с ним вступить. То да се: рано ли его сиятельство встает? в котором часу государственными делами заниматься садится? кто к нему первый с докладом приходит? не слышно ли, местов где-нибудь не открывается ли? Только разговариваем мы таким манером, и вдруг, братец, я вижу: вынимает он из кармана круглую-прекруглую табатерчищу, снимает крышку да ко мне… «Это, говорю, что?» «Нюхните-ка», – говорит. «Да ты, говорю, свинья, кажется, позабыл?..»

– Так и сказал?

– Так и брякнул. Я брат, прямик! не люблю вокруг да около ходить! По мне, коли свинья, так свинья!

– Так-то так, а все-таки неосторожно ты поступил. Горяченек ты, брат, справляться с собой не можешь!

Прокоп струсил; казалось, он только теперь понял всю неключимость своего поступка.

– Тебе что нужно? – продолжал я, – тебе нужно Солитеру ножку подставить да самому на его место вскочить? Следовательно, так ты и должен поступать. Знаешь, что камердинер может словечко замолвить, – стало быть, и должен ты с ним ласковенько: табачку, водочки… Я на твоем месте даже к себе бы его пригласил! А теперь он тебе мстить будет.

Прокоп стоял, вытаращивши глаза; вилка, устремленная по направлению к балыку, так и застыла в его руке.

– Я, брат, и сам об этом уж думал, – наконец промолвил он.

– Непременно будет мстить. Вот сегодня же вечером, как станет с его сиятельства сапоги снимать, и скажет ему: был давеча такой-то, не нравится он мне, невежей смотрит! А завтра ты явишься к его сиятельству, его сиятельство посмотрит на тебя, да и подумает: а кто бишь мне сказывал, что этот человек невежа? какой, в самом деле, грубиян!

– А что ты думаешь! ведь это, пожалуй, и вправду так будет! Они, эти хамы…

– Верно говорю. Эти камердинеры да истопники… ах, как с ними надо, мой друг, осторожно! Самый это ехидный народ! Солитер-то, ты думаешь, как пролез?

– Ну, Солитер и так, сам собой… На то он и солитер!

– Нет, он сперва в камердинера влез, а потом уж и…

– Ну, так прощай! я бегу!

– Да погоди! сейчас уж и бежать! Рассказал бы, по крайней мере, что у вас делается?

– Некогда, некогда – чему у нас делаться! Солитер… Я было посплетничать на него приехал, да вот приключение это… завтра прием мне был назначен, а теперь, пожалуй, и не выслушает!

Прокоп заторопился, подтянулся, вытянул ногу, на сапоги взглянул, посмотрелся в зеркало, пылинку с носа смахнул, шпагу поправил и уж совсем на ходу закинул мне:

– Я, брат, с женой и с дочерью здесь. В Гранд-отеле стоим. За границу ехать собираемся.

– Как! И Надежда Лаврентьевна здесь! и ты ничего не говоришь!

– Ну, что тут! не невидаль какая! Приходи ужо вечером – посидим!

Он рысцой направился в переднюю, накинул там на себя шинель и вдруг опять встревожился.

– Как ты думаешь? – спросил он меня, – ему… хаму этому… трех целковеньких довольно будет?

– Дай, брат, десятирублевую! – посоветовал я, – надо воображение ему поразить. Потому что хамы эти…

– Ну, ладно, ладно. Так ужо вечером. Кстати, я и расскажу, чем у нас с ним кончится. Жена, признаться, давно к тебе посылает – с неделю мы уж здесь – да вот всё происшествия эти…

Он исчез в дверях, а я остался опять один с своею тоскою.

Я начал резюмировать разговор, который мы сейчас вели, – и вдруг покраснел. «Что я такое сейчас говорил? какие такие советы насчет десятирублевой бумажки подавал? – мучительно спрашивал я себя. – Господи! да неужто ж холопство имеет такую втягивающую силу!»

Вот я, например: по-видимому, кажется, совсем позабыл. Ни мундира у меня культурного нет (старый износился, нового не сшил), ни поздравлять я не езжу – так, сам по себе, «независимо» глазами хлопаю! А увидел человека с красным околышем на голове – и не вытерпел! Так и лезет оно, так и прет из тебя, это проклятое холопство, при первом удобном случае! И рожа погано осклабляется, и язык петлей складывается, как только начнут об швейцарах да об камердинерах разговаривать. Не явись Прокоп, не начни он этого разговора – сидел бы я себе да проявлял бы гражданское мужество, в окошко глядючи! А теперь, поди вот, какой грех случился – даже на языке холопская слизь чувствуется – фу, мерзость!

Вот нынче во Франции целая школа беллетристов-психологов народилась – ништо им. У них психология французская, неспутанная – ври себе припеваючи! Нет, попробовал бы ты, господин Гонкур, вот сквозь этот психологический лес продраться, который у Прокопа в голове засел! Ему, понастоящему, и до самого его сиятельства горя мало, а он с лакеями об «внутренней политике» калякает, да еще грубит им… лакеям-то! Да и я тут же, за компанию, ему вторю: отомстит он тебе! не три, а десять рубликов ему надо дать! Ска-

зал это – и ничего! даже не почувствовал, что у меня от языка воняет! Спрашивается: какое может быть сцепление идей, когда такие вещи говоришь? И какова должна быть психология, которая доставляет материал для подобных разговоров? Вот кабы ты, господин Золя, поприсутствовал при этих разговорах – может быть, и понял бы, что самое наглое психологическое лганье, которое не снилось ни тебе, ни братьям Гонкурам, ниже прокурорам и адвокатам (прокурорам – разумеется, французским, а адвокатам – всем вообще), должно стать в тупик перед этой психологической непроходимостью.

И в то самое время, как я все это думал, вдруг, вследствие такого же необъяснимого психологического переворота, в голове моей блеснуло: а ведь Прокоп за границу едет – не примазаться ли и мне с ним?

Сейчас обвинял Прокопа в холопстве, сейчас на самого себя негодовал, что никак не могу пропустить случая, чтоб не похолопствовать, – и вот опять к Прокопу льну! Знаю я, что Прокоп, вместе с своей персоной, весь Залупск Европе покажет; знаю, что он повезет за границу Залупск и в своем платье, и в покрое своего затылка и брюха, и в тех речах, которыми он будет за табльдотами щеголять; знаю все это – и все-таки льну. Так и стремлюсь залупские запахи обонять, залупскому невнятному бормотанью внимать. И вместе со мной будут внимать этому бормотанью и Средиземное море, и серые скалы, которые высятся вдоль его берегов, словно сторожат лазурное ложе его в предвидении нашествия вар-

варов.

III. Между своими

Для тех, которые позабыли о Прокопе (см. «Дневник провинциала в Петербурге»), считаю нелишним восстановить здесь в коротких словах его физиономию. Это один из самых выразительных представителей культурного русского человека, лишь со вчерашнего дня узнавшего о своей культурности. В физическом отношении он создан забавно: голова круглая, затылок круглый, спина круглая, живот круглый, глаза круглые, даже плеча, руки, ноги – и те круглые. Лицо – портрет красавца мопса и, по обстоятельствам, принимает свойственные мопсу выражения. Когда его «никто не дразнит» и когда, сверх того, он сыт – кожа на его лице растягивается и выражение делается ласковым: можно держать пари, что у него непременно где-нибудь спрятан хвост, которым он в эту минуту виляет. Когда он раздразнен и голоден – на лбу и на переносье делаются складки, зубы злобно оскаливаются и из гортани вылетает рычанье; так и хочется крикнуть: а где у нас арапник-то, где? В нравственном отношении он прежде всего преисполнен загадочного юмора, об котором нельзя сказать положительно, на кого он направлен, на собственную ли персону Прокопа или на окружающих. Сверх того, он заносчив и льстив, лукав и легковерен, наивен и лжив, преисполнен всякого рода предрассудков, недоумений, противоречий и необыкновенно невежествен. Говорит

он обрывками, уснащая свою речь бесчисленными околичностями, перерывами, многоточиями, и при этом всегда поражает собеседника внезапностью мыслей, в которых невозможно отличить, что правда и что ложь. Некоторые думают, что он глуп и зол, но это неверно. Он не глуп и не умен, не добр и не зол – он сам по себе. Репутацию глупости составила ему глубокая его невежественность, репутацию злого человека – некоторые нечеловеческие инстинкты, которые довольно частыми вспышками проявлялись в нем во времена крепостного права. Но ежели надеть на него прочный намордник, то горячность эта довольно скоро остывает, и в Залупске справедливо замечают, что с тех пор, как упразднено крепостное право, Прокоп стал огрызаться значительно меньше прежнего.

Фамилия Прокопа – Лизоблюд, из тех Лизоблюдов, которые еще при царе Горохе тарелки лизали. Прокоп гордится своими предками. Не говоря уже о родоначальнике Лизоблюдов, занимавшемся лизоблюдством во времена доисторические, много было и позднейших потомков, которые шли по его стопам уже во времена, освещенные светом истории. Вообще это были люди смышленые и хозяйственные, и в то время, как другие «ближние люди» занимались целованием крестов да выщипываньем друг у друга бород по волоску, Лизоблюды всё больше ютились около утробной части, заведовали поварнями, подавали кушанья, служили посредниками в любовных интригах и, проводя в этом занятии время,

укреплялись в милостях и приобретали вотчины. Но в половине XVIII века звезда Лизоблюдов померкла: Никита Лизоблюд, устроивая любовные дела Авдотьи Лопухиной, был обвинен в измене и, по наказанию на теле, сослан в залупские вотчины, с воспрещением выезда из места жительства. Причем было выражено, что снисхождением этим (ему надлежало вырезать язык) он обязан лишь «неистовой его глупости». С этих пор значение фамилии Лизоблюдов принимает характер исключительно культурный, и целые поколения ее членов следуют одно за другим в роли представителей залупской культурности, сами, впрочем, не подозревая всей тяжести бремени, которое судьба возложила на их плечи.

Семейство Прокопа состоит из жены, сына и дочери Наташеньки. Жена его слыла когда-то красавицей, да и теперь, хоть ей уж под сорок, производит в Залупске сенсацию. У ней нет ни особенного ума, ни даже уменья болтать милый вздор, но есть удивительнейшие, наливные, белоснежные плечи, и она знает это. К этим плечам несутся сердца всех залупских культурных людей, и в них же отчасти заключается тайна поднесения Прокопу белых шаров на выборах. Сам Солитер, которого голова, начиненная циркулярными предписаниями, по-видимому, недоступна ни для чего, кроме тусклого мерцания, выражающегося загадочным восклицанием: «фюить!» – и тот любострастно чавкает и как-то нелепо косит глазами, когда встречается с Надеждой Лаврентьевной на балах. Я не знаю, понимает ли Прокоп, какое дей-

ствие производят плечи его жены на окружающих, но думаю, что он, делая вид, что не понимает, все-таки пользуется этим действием, как одним из средств внутренней залупской политики.

Единственный сын Прокопа, Гаврюша, похож на отца до смешного. То же круглое тело, то же лицо мопса, забавное во время покоя и бороздящееся складками на лице и на лбу во время гнева. Прокоп любит его без памяти, всем нутром, и ласково рычит, когда сын является из заведенья «домой». Он садится тогда на кресло, ставит сына между ног, берет его за руки, расспрашивает, знал ли он урок и чем его на неделе кормили, и смотрится в него, словно в зеркало.

– Так ты говоришь, хорошо вас кормили? – спрашивает он, заглядывая ему в глаза.

– Нынче, папаша, нас лучше кормят: директор комиссию из воспитанников над экономом назначил.

– То-то. А паче чаяния ежели что, так ты спрашивай: я твоему дядьке строго приказал и денег на это оставил. Ешь, брат, есть надо; больше будешь есть – и урок будешь лучше знать.

В «заведение» Прокоп отдал Гаврюшу и не без расчета: он понял, что «заведение» есть именно такая вещь, откуда, хочешь не хочешь, а в конце концов все-таки и с чином выйдешь, и на место поступишь.

– Я, брат, по себе знаю, – открывался он мне по этому случаю, – и гувернеры, и мадамы у меня были, а что толку! Срам

сказать, и теперь из катехизиса ни одного текста не знаю!

– Да ведь на выборах из катехизиса не спрашивают? – возражал я.

– Все-таки. Разговаривают. Не из катехизиса, так из географии. Кабы я знал, так и сам бы разговаривал. А теперь приходится на других смотреть, смеются или нет.

– Так что ж! сходит с рук – и слава богу!

– То-то, что под богом мы нынче ходим. Сегодня сошло, а завтра нет. Ехидные нынче люди пошли: испытывают. Иной целый разговор с тобой ведет: ты думаешь, он вправду, а он на смех! Вот, года три назад, пришла ко мне бумага насчет распространения специяльных идей. Натурально – письмоводителя: какие, мол, такие специяльные идеи? – А это, говорит, по акцизной части, должно быть. Ну, мне что: по акцизной так по акцизной! – отвечай, братец! Ан после оказалось, что он мне на смех акцизную-то часть ввел!

– Ах, Прокоп, Прокоп! Милый ты, милый! Так как же ты с Гаврюшей хочешь поступить?

– Хочу в «заведение» отдать. Там научат. Туда лиха беда попасть, а попал, так будет «человеком». Экзамены будет, братец, выдерживать, а ведь я никогда ни одного экзамена выдержать не мог. Так воспитываться, без экзамена, – это я могу, а чуть на экзамен повели – ау, брат!

Как ни удивительны представлялись мне эти соображения Прокопа, но в результате оказалось, что он прав. Третий год находился Гаврюша в заведении – и ничего, даже экзамены

выдерживал. Жаловались, правда, воспитатели, что он, во время препарации, забирается в шинельную спать, но Прокоп так наивно возражал на это: «так неужто ж ребенку не спать?», что начальство махнуло рукой и вновь подтвердило обещание сделать Гаврюшу «человеком».

Наташенька уж невеста; ей восемнадцать лет, и наружностью она пошла в мать, то есть наверное будет со временем иметь такие же наливные, сахарные плечи. Как девица благовоспитанная, она стыдится мужчин и при виде их жмется к мамаше. Сверх того, склоняет головку несколько набок, что придает ей какую-то трогательную грацию, и ходит, слегка привскакивая на носках, тоже для грации. Вообще девушка образованная, сытая и аппетитная, хотя совестится за свою аппетитность и от души молится богу о ниспослании ей худобы. Прокоп ее любит по-своему, то есть шутит шутки насчет ее невинности и аппетитности; но в этой любви нет и тени той страстности, которую он чувствует к Гаврюше.

– Наташа – что! – говорит он, – сегодня она Лизоблюд, а завтра будет Тарелкина. Вот Гаврило у меня, – тот настоящий, коренной Лизоблюд будет!

Когда я пришел к Прокопу вечером, у него уж сидел гость. Поэтому он вышел ко мне навстречу в переднюю, чтоб сообщить о результате давешнего разговора насчет графского камердинера.

– Обделал, брат! – сказал он довольным тоном, – десятирублевенькую выкинул.

– Ловко, голубчик. Стало быть, скоро тебя и поздравить будет можно?

– Ну, это еще бабушка надвое сказала. Местов, говорит, нет. Будут, говорит, два места на днях, да вчера, вишь, обещаны. А после этих двух мест, как очистится первая вакансия, так и…

– Да не врет ли?

– Верно, братец. Прямо так и сказал: первая, после этих двух, вакансия – моя!

– Ну, и слава богу. Покуда за границу съездишь, покуда что… Завидую я тебе, голубчик! Как там ни говори, а еще много, очень много в наше время можно напакостить… то бишь дел наделать. Вот хоть бы эта самая область, куда Макар телят не гонял…

– Да одно ли это! А прочее-то! Однако я должен тебя предупредить: покуда об этом – молчок. Иван Созонтыч так сказывал: вы, сударь, до времени не хвастайтесь. А теперь идем к жене.

Вся семья Прокопа была налицо. Надежда Лаврентьевна дала мне ручку поцеловать, Наташенька – в губки похристосовалась, один Гаврюша бутузом сидел в углу, держал в обеих руках по яйцу и пробовал, которое из них крепче. Гостем оказался какой-то генерал, до такой степени унылый, что мне с первого взгляда показалось, что у него болит живот. Прокоп отрекомендовал нас друг другу.

– Генерал Николай Батистыч Пупон, – сказал он мне, –

отец его, Батист Богданыч, француз был, с русскими войсками в восемьсот четырнадцатом году Париж брал, ну, а вот он – уж настоящий русский. И веры нашей.

При имени Пупона мне вдруг что-то смутно вспомнилось. Что-то такое, что я в 1863 году в газетах читал. Реляция какая-то, в которой говорилось, что храбрый полковник Пупон… но вот тут-то именно я и сбивался: крепость ли неприятельскую взял или молодцом взлетел на четвертый этаж какого-то дома и без ключа отпер дверь какой-то квартиры.

– Вы… тот самый храбрый полковник Пупон?.. – невольно сорвалось у меня с языка.

– Да… но теперь – генерал! – ответил он мне каким-то горьким голосом.

И вдруг я в самом деле вспомнил. Да, это действительно было не под Севастополем, а на Подьяческой. Он взлетел – и каким-то волшебством, без ключа, очутился внутри запертой квартиры. Но как он с тех пор изменился! Тогда он мне казался молодым, исполненным отваги и надежд, и хотя выражение его лица и в то время имело что-то наглое, но это была наглость молодая, сильная, ликующая. Теперь – он был похож на заштатного индейского петуха, который до такой степени забит и отощал, что не имеет сил даже соплю распустить. Весь он был словно пеплом покрыт: лицо пепельное, глаза пепельные, волосы пепельные, даже на мундирном сюртуке как будто кусочки пепла виднелись. Сидел он молча, часто и глубоко вздыхал, а немногие ответы на вопросы

давал отсырелым, пещерным голосом.

Мы сели в кружок и стали разговаривать. Сначала погоду бранили, потом перешли к залупским новостям, и Надежда Лаврентьевна в одну минуту засыпала меня рассказами, в которых, к великому моему прискорбию, главную роль играли плюхи.

– Говорили, будто уж плюх больше не будет, – резюмировал эти рассказы Прокоп, – а они нынче еще веселее прежнего в ход пошли. У нас, в Залупске, редкий разговор нынче не кончается плюхой.

– Самолюбивее народ стал – оттого! – попробовал я объяснить.

– Нет, не самолюбивее, а так как-то… в общежитие, стало быть, вошло. Кабы самолюбие, так он, получивши плюху-то, бежал бы куда-нибудь, а то получит, да так с плюхой и ходит по городу.

– Очень нынче в Залупске нехорошо стало! – вздохнула Надежда Лаврентьевна.

– Скучно?

– Нет, не то чтобы… Балы в собранье бывают… офицеры, пикники устроивают… Нет, мы не скучаем! А так, вообще.

– У нас, брат, и в заведении скуки нет! – отозвался Прокоп, – либо у нас гости, либо мы в гостях – где тут скуке быть! А гостей нет – лошадей велишь заложить или варенья спросишь. А теперь вот за границу собрались. Вздумалось съездить – и поедем.

– Так это у вас уж окончательно решено? – обратился я к Надежде Лаврентьевне.

– Да, решено. Надо же!

– Я уже раз шесть за границей был, везде перебывал, – объяснил Прокоп, – а они еще ни разу не были. Ну, и пусть съездят, посмотрят. Нельзя же…

– Да, да… Это действительно так… нельзя же! Вот я никогда за границей не бывал и даже намерения не имел, а давеча пришел он – я и раздумался. Надо же, думаю, нельзя же!

– Конечно, надо, – подтвердила и Надежда Лаврентьевна.

– И прекрасно, брат, вместе все и поедем. Вот и генерал с нами, да еще по дороге кой-кого подходящих подберем – чудесно проведем время!..

– Только вот что: хотелось бы мне прежде хоть приблизительное понятие себе составить, что собственно будем мы делать за границей?

– А что прочие делают, то и мы будем. Чай, не арифметике учиться едем. Талеры знаешь, франки знаешь – ну, и всё тут.

– Например, начать хоть бы с того, куда мы едем?

– Разумеется, сначала в Берлин – там на неделю остановимся. В Берлине можно бы и поменьше побыть, да мне, признаться, Бисмарка показать обещали.

– Что ты! Самого Бисмарка?

– Да, Иван Карлыч, булочник здешний, обещал. Я, говорит, вам к его камердинеру, Христофору Иванычу, письмо дам, так он его вам за сто марок сколько угодно покажет. А

ежели двести марок дашь, так Бисмарк даже на аудиенцию выходит. И тут что хочешь у него проси, потому что он, за аудиенцию, сто марок в свою пользу отсчитывает.

– Ах, господи!

– Нечего ахать – верно говорю! А ежели сто талеров не пожалеешь, так и на квартиру приедет, – разумеется, ежели ты русский. Потому, русских он любит. Русские, говорит, – добрый, покорный народ.

Как ни привык я к внезапным мыслям Прокопа, но это было так необыкновенно, словно я в армидины волшебные сады вошел. Я глядел на Прокопа во все глаза, усиливаясь угадать, не предается ли он, по обычаю, своему загадочному юмору, но лицо его сияло таким ликованием, что не могло быть не малейшего сомнения в искренности его слов. Очень даже возможно, что перспектива видеть Бисмарка играла не последнюю роль в его решимости ехать за границу и что он покуда только не мог еще вполне определить себе, по какому разряду он устроит это свидание, то есть за сто, двести или за триста марок.

– А из Берлина прямиком в Париж, – продолжал он как ни в чем не бывало, – там месяца с два пробудем. Вот барыни нарядов накупят, а мы по ресторанам походим. Оттуда поедем в Баден, в Швейцарию, а на зиму в Ниццу махнем!

– Но, все-таки, что же мы делать-то, делать-то что будем?

– Что другие, то и мы. Другие гулять – и мы гулять, другие обедать – и мы обедать. Там, брат, не Россия, озорничать не

позволяется. Вот в Швейцарии – скажут тебе с вечера: завтра в пять часов восхождение на Риги – ну, и будь готов в пять часов, и становись в пару.

– Вид, что ли, уж очень хорош, что даже выспаться не дают?

Ничего… вид! Солнце встает – известно! В трубки англичане смотрят. Посмотрели – и опять, как арестантов, в отель поведут.

– Так неужто ж, после нашего-то простора, такая жизнь может нравиться?

– Я разве говорю, что нравится? Нравится или не нравится, а коли назвался груздём, – так и полезай в кузов, вот я об чем. И еда у них хуже нашей. Говядина есть, да своя, а черкасской нет.

– Так как же это?

– Об том-то я и говорю. А впрочем, коли ты за границу едешь, так меня держись. Если на себя надеяться будешь – одни извозчики с ума сведут. А я тамошние порядки наизусть знаю. И что где спросить, и где что поесть, и где гривенничек сунуть – всё знаю. Я как приеду в гостиницу – сейчас на кухню и повару полтинничек. Всё покажет. Оберкельнеру тоже сунуть надо – первому за табльдотом подавать будут.

– Так, стало быть, едем?

– Как не ехать? Нельзя не ехать. Я за зиму-то в Залупске отеку, а летом, как за границей вроде арестанта побудешь –

весь отёк с тебя как рукой снимет. Вот и генерал с нами… ты что, генерал, нос повесил? Едем?

– Не знаю… я ванны брать буду…

– Не все же в ванне будешь сидеть. Чай, и поесть захочешь!

– Нет уж… Я уж… Не могу я, мой друг!

– Ах, генерал, генерал! Какой ты был храбрый да проворный, сражение в Средней Подьяческой выиграл – и вдруг что с тобой сделалось!

Генерал обратил на нас потухающий взор и произнес:

– Таковы плоды человеческой мечтательности!

Он сказал это таким безнадежным тоном, что все невольно смолкли. И затем вдруг, к величайшему моему удивлению и к смущению Наташеньки, которая, впрочем, в одно мгновенье куда-то исчезла, начал расстегивать свой сюртук, потом жилет, рубашку, покуда не обнажилась левая сторона нижней части его волосатой груди.

– Смотрите, молодой человек, и да послужит вам это уроком! – обратился он ко мне, неизвестно почему считая меня за молодого человека, – вот здесь, пониже левого соска, что вы видите?

Я приблизился и действительно увидел нечто в высшей степени странное. В нижней части груди, в том самом месте, на которое сейчас указал генерал, находилось продолговатое пространство, усеянное белыми пупырышками, вроде сыпи. Когда генерал щелкнул по этому месту двумя пальцами, то

пупырышки мгновенно покраснели, и я мог прочитать следующее:

К СЕМУ ТЕЛУ, ЗА
БЕЗГРАМОТСТВОМ САТАНЫ,
АГГЕЛ ЕГО, ИВАН ИВАНОВ
ДОМОВОЙ, РУКУ ПРИЛОЖИЛ.
АНАФЕМА!!

По-видимому, подпись эта была некогда наколота сапожным шилом и натерта порохом.

– Теперь вы знаете роковую тайну моего горького существования! – продолжал генерал, покуда я, вне себя от изумления, смотрел на него, – покамест, я был субалтерн – и штаб-офицером, не существовало человека, который при встрече со мной не говорил: вот отважный Пупон! Все меня знали! все льстили и чествовали, отовсюду слали мне телеграммы, во всех трактирах пили за мое здоровье! Даже историк Соловьев, и тот, в предвидении сорокового тома «Истории России с древнейших времен», с благодарностью принял от меня меморию под названием: «К истории Смутного времени, с присовокуплением подвигов». Но с тех пор, как я произведен в генералы – все изменилось. Пупон забыт, Пупон отвержен, Пупон – отчислен по кавалерии! И в довершение всего, господин Соловьев на днях возвратил мне мою меморию обратно с следующею надписью: «Дела, в сей мемории описанные, столь несвойственны, что даже не весьма стыдливая Клио – и та отвращает от них лицо свое». Заметь-

те: «несвойственны», но чему несвойственны – о том умалчивает! Как по-вашему: обидно это или не обидно?

– Конечно, обидно. Но, с другой стороны, ежели справедливо, что даже «не весьма стыдливая Клио» – и та зарумянилась, то, может быть, подвиги, которые вы описывали, были такого сорта, что для ученого и притом семейного человека…

– Нет, дело совсем не в свойстве подвигов, а в том, что с производством моим в генеральский чин, истек срок контракта, скрепленного той печатью, которую вы сейчас видели. С этих пор все в судьбе моей изменилось. Подвиги продолжают совершаться по-прежнему, и профессор Соловьев сам очень хорошо знает это, – но они совершаются уже не мною, а людьми совсем другого ведомства! Спрашиваю вас: можно ли было поступить оскорбительнее?

– А вперед, брат, умнее будь! – вмешался Прокоп, – коли с нечистым контракты пишешь, так пиши обстоятельнее: так, мол, и так, до смерти моей обязываешься ты мне… а там, мол, после смерти, буде что после меня останется – все твое!

– Шутит! все шутит! – с горечью укорил генерал.

– Позвольте, генерал! – вмешался я, – я с любопытством слежу за вашими жалобами и даже сочувствую им, но, признаюсь, очень мало в них понимаю. Ваша прежняя блестящая карьера – и теперешний ваш унылый вид… наконец, эта странная печать на вашей груди… что все это значит? кто вы?

– Я – жертва неопытной мечтательности и жажды благородных подвигов, и так как мы едем вместе за границу, то когда-нибудь я расскажу вам подробно историю моей жизни. Теперь же могу сказать только одно: молодой человек! берегитесь мечтательности! Ибо мечтательность, даже в границах области предупреждения преступления, далеко не всегда ведет к тому концу, который она самонадеянно себе предназначила.

С этими словами он встал и вышел, оставив меня лицом к лицу с какой-то нелепою тайною.

IV. Поехали

Через неделю, в одиннадцать часов утра, я был на дебаркадере Варшавской железной дороги. Прокоп уже распоряжался переноскою багажа, состоявшего из двенадцати больших сундуков и нескольких ручных чемоданов.

Сырая погода преследовала нас, и целое море грязи стояло перед станцией. Неподалеку возвышался закопченный остов фейгинской мельницы, которая некогда была утешением интендантства и около которой теперь шнырили неизвестного происхождения люди. Казалось, здание еще дымится и дух Овсянникова парит над ним. Прокоп, как человек похотливый относительно всех скандалов русской современности, конечно, не преминул обратить внимание и на мельницу.

– Из-за полтинничка кашу-то заварил! – сказал он, мигнув по направлению пожарища.

– Как ты, однако ж, все просто объясняешь! – счел долгом возразить я, изумленный внезапностью этого предположения.

– Известно, из-за полтинника. На низу помол дешевле на копейку – вот он и тово… Дай, мол, сожгу, благо мельница застрахована.

– Ну, нет, это ты уж чересчур хватил. Миллионер – и станет об таких пустяках думать!

– А ты душу-то человеческую знаешь?

– Нет, но во всяком случае…

– А я знаю. У нас в Залупске тоже миллионер Голопузов живет, так у него извозчик пятиалтынный просит, а он ему гривенник дает. Да еще усовещивает: креста, говорит, на тебе нет! Так вот оно, что душа-то человеческая значит!

В эту самую минуту из всех отверстий мельницы целая масса людей высыпала наружу и скучилась против фасада ее. Прокоп не преминул и на это обратить свое внимание.

– Ишь, ишь, ишь! адвокатов-то что собралось! – возопил он, – это они слам делят!

– Какой еще слам?

– Такой и слам, что один какой-нибудь возьмет всю тушу за себя, примерно хошь за сто тысяч – ну, пятьдесят себе оставит, а пятьдесят на драку.

– Скажу по совести! ведь ты это сейчас только выдумал?

– А ежели и выдумал – важность какая! Не в том штука, выдумал или нет, а в том, что правильно выдумал. Смотри-ка! смотри-ка! остановились! глядят! ах, чтоб им пусто было! Ишь, ишь! Вон белый, вон-вон этот! – к стене подошел, штукатурки кусок отколупнул – это у него «совершенное» доказательство будет!

Затем Прокоп начал было объяснять мне, какой разговор он имел об этом деле с адвокатом Комаринским, но я уже не слушал его. Придя в зал, я нашел там довольно много народу, мужчин и дам, и у всех было на лицах написано: вот и мы за

границу едем! Нельзя же! Надо же! Меня никто не провожал; около Прокопа вертелся Гаврюша, которому он от времени до времени говорил:

– Смотри же, ешь больше! будешь есть – и урок будешь знать! А в июне, на каникулы, – к нам за границу приезжай!

Но вот раздался второй звонок, и надо было рассаживаться по вагонам. Прокоп в последний раз взял Гаврюшу за руки, пристально взглянул на него, словно бы хотел укусить, и перекрестил.

– Ешь, брат, – повторил он, – там я дядьке оставил… требуй!

Перейдя в вагон, Прокоп отворил окно и оттуда смотрел на Гаврюшу. Он сидел без слов, но все лицо его сияло и смеялось. Гаврюша тоже смеялся, но стыдливо, как будто совестился. Наконец поезд заколыхался и тронулся.

– Ешь, брат! – крикнул Прокоп встречу сыну, который трусцом бежал рядом с удаляющимся вагоном.

Вагон, в котором мы поместились, принадлежал к числу самых роскошных. Кроме двух отдельных купе, в нем был еще прекрасный салон. Надежда Лаврентьевна с Наташенькой устроились в одном из купе, в котором, вместе с ними, сел и еще какой-то молодой человек. Остальные пассажиры разместились в салоне. Кроме Прокопа, генерала Пупона и меня, тут было еще четверо пассажиров. Молодой тайный советник Стрекоза, который ожидал к празднику Белого Орла, а получил корону на святыя Анны и в знак фрондер-

ства отправлялся вояжировать; адвокат, который был обижен тем, что его не пригласили по овсянниковскому делу ни для судоговорения, ни даже на побегушки; седенький старичок с Владимиром на шее, маленький, съёженный, подергивающийся, с необыкновенно густыми и черными бровями, которые, при каждом душевном движении, становились дыбом, и должно быть, очень злой; наконец, какая-то таинственная личность в восточном костюме, вроде халата из термаламы, и с ермолкой на голове.

Когда поезд двинулся, то всякий по-своему выразил чувство, одушевлявшее его в эту минуту. Прокоп смело и прямо снял картуз и, перекрестившись большим крестом, произнес: с богом! Старичок тоже перекрестился, но как-то робко, под пальто, словно сомневаясь, входит ли это в круг его обязанностей. Пупон хотел последовать их примеру, но «отец лжи» не позволил ему. Несколько раз он безуспешно замахивался и, наконец, чтоб скрыть свою неудачу, вынул из кармана носовой платок, высморкался, сказав: теперь надолго! и уселся в угол. Восточный человек, по-видимому, хотел совершить омовение, но, за невозможностью, сотворил брение и помазал им под ермолкой. Адвокат долго следил за исчезающею в тумане мельницею, потом вынул из кармана фотографическую карточку Овсянникова и пристально посмотрел на нее, как бы вопрошая: виноват ты или нет? Молодой тайный советник открыл окно и долго махал платком провожавшим его столоначальникам, как бы подтверждая

им вести дела в том же «направлении». Потом сел и горько улыбнулся, словно укоряя отечество в неблагодарности. Нет сомнения, что он в эту минуту сравнивал себя с древним Кориоланом, с тою лишь разницей, что, более великодушный, нежели Кориолан, он не намеревался привести вольсков, чтоб отомстить за корону на святыя Анны.

Мне было не по себе. По мере того как поезд прибавлял ходу и врезывался в царство болот, мне представлялось, что внутри меня все больше и больше пустеет. Теперь впервые с особенной назойливостью выдвигался вперед вопрос: что-то будет? Я – человек привычки и настолько робкий, что всякое передвижение непременно волнует и тревожит меня. Даже переезжая каждогодно летом из Петербурга в деревню, я не могу избавиться от вопроса: что будет? – до такой степени все, что стоит вне этой комнаты и дальше этой минуты, кажется мне преисполненным всякого рода опасностей. Собственно говоря, я оставляю сзади себя очень мало: смутную тоску об чем-то и смутное желание чего-то – казалось бы, не об чем очень-то жалеть! Но неизвестность, расстилающаяся впереди, до того преисполнена мучительных загадочностей, что даже та ленивая смутность воспоминаний и надежд, которой предается современный русский культурный человек, ежели он не адвокат, не прокурор, не железнодорожный деятель и не директор банка, представляется ему чем-то вроде убежища. Точно вот проснулся человек и начал в халате по комнате ходить; и не хочется ему ни умываться,

ни одеваться, ни даже к чаю притронуться: все бы он ходил взад да вперед, ходил бы да думал. Об чем бы думал? – право, даже и на этот вопрос отвечать незачем. Так бы, думал – и всё тут. Мелькнет и исчезнет, и опять выскочит, и опять пропадет. То мотив какой-нибудь звукнет и замолчит, то образ какой-то осветится и потухнет. Ходишь-ходишь и даже усталости не замечаешь. Я знаю, что это мечтательность изнурительная, но, по моему мнению, она представляет собой эмблему существования очень многих русских людей. Современная жизнь, с ее лихорадочными движениями, не для всех выказала себя матерью. Многих хищников выдвинула она вперед, но большинство людей добродушных и неспохватливых оставила без дела, за штатом. Вот они-то и мятутся в области тоски и всякого рода смутностей. Без ясных сожалений в прошлом, без ясных провидений в будущем – точно вот сейчас проснулись, и ночные грезы еще не успели с них соскочить, да, пожалуй, и не соскочат никогда. И так как везде, куда бы они ни пришли, им говорят: не твое дело! – то весьма естественно, что ими овладела оторопь. Эту оторопь они носят с собой везде и, по привычке, являются с ней даже там, где жизнь, по-видимому, не представляет уже ни тайн, ни неожиданностей. Все кажется, что или кондуктор обидит, или засудят, или вдруг… фюить!

Вот я, например. Хотя я и не бывал еще за границей, но весь склад моей жизни, все воспитание, все идеалы, все привычки и приемы – все и всегда было заграничное. Я и

парле-франсе умею, и Наполеона III обругать могу, и про Бисмарка два-три анекдота знаю, и даже с некоторыми заграничными обычаями знаком. Один знакомый сказал: за границей за табльдотом семь блюд подают! другой знакомый предупредил: если вы в Париже будете, никогда не говорите гарсонам: je vous prie,[4] а s'il vous plaît,[5] – иначе вас сейчас за русского примут. С этими сведениями, куда бы я ни приехал, везде я как дома буду. И за всем тем – все-таки берет оторопь. Вот теперь, через сутки – Эйдкунен, а мне все кажется: пройдет ли? Точно к родителям из школы с дурной отметкой на билете идешь. Каковы-то там кондукторы? обходительны ли извозчики? не строги ли содержатели отелей? А главное, как я за табльдотом обедать буду? Я привык на просторе обедать, а тут вдруг – хочешь кусок проглотить, ан тебе немец в рот смотрит! И вдруг он расхорохорится, скажет: давай за погибель Франции пить! А я Францию люблю. Люблю, несмотря даже на то, что она теперь не Франция, а Мак-магония.

Буду ли я с немцем за погибель Франции пить?

Буду ли я вообще все те мерзости проделывать, которые проделывают русские культурные люди, шлющиеся на теплых водах? Буду ли я уверять, что мы, русские, – свиньи, что правительство у нас революционное, что молодежь наша не признает ни авторитетов, ни государства, ни семейства, ни

[4] прошу вас.

[5] пожалуйста.

собственности, что вообще порядочному человеку в России дышать нельзя и что поэтому следует приобрести виллу в Бадене или в Ницце, а сношения с Россией ограничить получением оброков?

Буду ли я говорить все это? – вот странный вопрос! Разве я знаю, что я буду говорить? разве могу определить заранее, что я скажу, когда начну говорить? Вот если б я один обедал, я бы, конечно, молчал, а то за табльдотом, где сто немцев в рот тебе смотрят, все друг другу таинственно шепчут: а это ведь русский! Ну, как тут выдержать? как не сказать: господа, я действительно русский, но я из тех русских, которые очень хорошо понимают, что русские – кадеты европейской цивилизации!

Покуда эти мысли толпились в моей голове, Прокоп всматривался в пассажиров и приставал ко мне с вопросами: это кто? а вон этот, в углу, кто таков? При этом он указывал пальцем и делал свои замечания так громко, что я каждую минуту ожидал, что буду скомпрометирован. Прежде всего он заинтересовался адвокатом, долго припоминал, где он его видел, и, наконец, вспомнил-таки, что в Муромском лесу.

– Насилу, брат, мы от него удрали! – присовокупил он в виде заключения.

Потом его заинтриговал восточный человек, и он опять начал припоминать, где он его видел.

– А ведь это от Огюста татарин! – воскликнул он наконец, – убей меня бог, ежели не он! Только фрак снял, да ведь

я их и в костюме в ихнем видал: в ноябре они к своему причастию ходят, так этаким же манером наряжаются! Постой, я ему свиное ухо покажу!

И, не откладывая дела в долгий ящик, к величайшему моему изумлению, через весь вагон крикнул:

– Здравствуй, саламалика! ты как это в первый класс попал?

Но восточный человек только приветливо улыбнулся в ответ на эту апострофу, и, к моему удовольствию, происшествие это не имело дальнейших последствий, кроме брезгливого движения плечами со стороны тайного советника Стрекозы, который, казалось, говорил: в каком же, однако, я обществе еду?

Вообще, как я ни усиливался воздержать Прокопа от внезапных движений, он с каждым шагом вперед эмансипировался все больше и больше. Одним из самых выдающихся его качеств было любопытство, соединенное с легковерием, и когда оно выступало вперед, то совладать с ним было очень трудно. Так случилось и теперь. Некоторое время он как будто боролся с собой и даже пытался рассказать мне сюжет «Трех мушкетеров», которых он будто бы читал по рекомендации какого-то высокопоставленного лица, но на половине рассказа не вытерпел, подсел к адвокату и тотчас же завязал с ним разговор.

– Вы адвокат?

– Имею честь принадлежать к сословию адвокатов.

– Фамилия ваша?

– Проворный, Алексей Андреев.

– Как будто мы с вами прежде встречались?

– Очень может быть-с.

– В Муромском лесу будто. Я в саратовскую деревню, помнится, ехал.

Проворный взглянул на Прокопа недоумевающими глазами.

– Как ее, станция-то? Булатниково, что ли? еще вы нас в овраге поджидали? – не смущаясь, продолжал Прокоп, – вы давно тамошние места бросили?

– Извините… тут есть какое-то недоразумение… Я даже не слыхал ни об каких Муромских лесах! – все больше и больше недоумевал Проворный.

– Ну, что тут! Конечно, кому приятно про Муромские леса вспоминать. Главное дело: бросили – и довольно. Там, впрочем, нынче и невыгодно: все проезжие на железные дороги бросились, да и Муромские-то леса, кажется, в Петербург, на Литейную, перевели. Овсянниковское дело знаете?

– Имел честь быть приглашаемым-с.

– Понюхать, или взаправду?

Вопрос был так необыкновенен, что даже самому Проворному сделалось весело.

– Вы чему смеетесь? – спросил Прокоп, заметив на лице адвоката улыбку.

– Да признаюсь вам откровенно, у вас такой неожиданный

способ выражения…

– Никакого у меня способа выражения нет, а говорю правду. У меня у самого два адвоката-приятеля есть: одного, Белобрюшникова, понюхать приглашали, а другого, Комаринского, – того прямо запрягли: ступай, значит, в самый навоз. Об Комаринском, чай, слыхали?

– Имею честь знать лично-с.

– Веселый парень, бесстрашный. Я, признаться, говорил ему: смотри, брат, вытащишь ли? Как бы совсем в навозе не остаться! Ничего – смеется. Мне, говорит, бояться нечего, я сыт. В Петербурге будет жить скверно – в Ниццу уеду. Куплю палаццо, захвачу парочку литераторов с Ветлути, будем в чехарду играть, в Средиземное море плевать, по вечерам трехголосную херувимскую петь. Всё равно что в Ветлуге заживем. А как по вашему мнению: поджег Овсянников мельницу или не поджег?

– Это зависит-с…

– То есть от чего же зависит?

– От взгляда-с. Ежели с одной стороны взглянуть – выйдет поджог, а ежели с другой стороны – выйдет случайность.

– Ну, а по-настоящему, по правде-то, как?

– По моему мнению, правда есть продукт судоговорения – вот все, что могу вам на этот счет сказать.

– Да ведь поджог-то до судоговорения был?

– Пожар-с. А что было причиной, поджог или неосторожность, или действие стихий – это уж тайна судоговорения.

– Стало быть, на судоговорении можно и первое, и другое и третье доказать?

– Не доказать, а доказывать-с. Три системы доказательств будут иметь место в этом деле: одна со стороны прокурора, другая со стороны гражданского истца и, наконец, третья – со стороны защиты обвиняемых. Какая из этих систем окажется более убедительною, та и выиграет дело.

– Стало быть, если б я, например, хоть разневинный был, а у прокурора система будет лучше, нежели у моего адвоката, так меня на каторгу сошлют?

– Подобные случаи известны в юридической практике под названием судебных ошибок.

– Слава богу, хоть это. Ну, а теперь имение у меня в Рязанской губернии есть – можно его у меня отнять?

– Ежели есть противная сторона, которая обладает известной суммою доказательств…

– Вот так судоговорение! Ваше превосходительство! как вы об этом думаете?

Вопрос этот относился к молодому тайному советнику, который полулежал в это время на диване, закрывшись листом газеты. Но тайный советник даже в вагоне строго соблюдал свое достоинство, и чтоб не вступать в разговор с неизвестною личностью, притворился спящим.

– Спит? – шепотом произнес Прокоп, – ну, да ему и не грех. Обидели его. Ну-с, так будемте знакомы, Алексей Андреич. Хоть вы и собрались у меня рязанскую деревню от-

тягать, – да это еще когда-то будет! А покамест знакомы будем. Может, за границей свидимся, приятнее будет в своем кружку время провести. А что Овсянников мельницу поджег – так вы в этом не сомневайтесь. Я и с адвокатом его, с Комаринским, говорил – и тот говорит: поджег! Только парень-то уж очень хорош, денег у него много – вот и нельзя не заступиться за него.

Прокоп встал, потянулся и осмотрелся кругом, к кому бы еще присесть. Покосился сначала на восточного человека, но раздумал и направился к старичку с Владимиром на шее. Старец как-то нервно передернулся, почувствовав себя в этом соседстве.

– Вы до Вильны? – спросил Прокоп.

– Я за границу-с.

– А я думал, до Вильны. Туда нынче много таких ездит. Просветители. А где служите? чай, в консистории?

Старичок ничего не ответил, но я видел, как брови его начали постепенно шевелиться, словно в них что-то забегало.

– Что ж не говорите! – продолжал Прокоп, – чай, язык не отвалится?

– При своем месте служения нахожусь, – ответил старец, решительно уклоняясь от дальнейшего разговора.

– Понимаю! ватерклозетами заведуете? Там, верно, и простудились – теперь на казенный счет лечиться едете?

Старичок не отвечал, а только беспокойно подергивал плечами и спиной и перекладывал ноги одну на другую.

– Я и болезнь вашу знаю, – продолжал Прокоп, – по-медицински восцой она называется. Чернослив, брат, больше ешь – пройдет.

– Прокоп! – возопил я, – что ты делаешь?

– Ничего я не делаю. Я только об том, сколько на эту восцу казенных денег выходит. А ежели ты со мной, господин Восцын, разговаривать не хочешь, – обратился он к старику ну, и сиди с богом. Подергивайся. Ишь его передергивает. Восца! она и есть! восца!

Наконец вновь Прокоп сел подле меня и некоторое время казался обиженным. Но так как никакое определенное чувство не могло в нем долго задерживаться, то в скором времени его занимали уже совсем другие соображения, и он изумил меня целым рядом совершенно неожиданных вопросов и рассуждений.

– К Луге, что ли, мы подъезжаем? – спросил он.

– К Луге.

– Есть будем – это хорошо. Вот я ему компот из чернослива закажу – ешь, брат, здоров будешь. А что за Луга? город, что ли?

– Город.

– А чудотворцы в нем какие-нибудь почивают?

– Об каких еще чудотворцах ты заговорил? Есть исправник, становые – вот и довольно.

– Нет, это ты уж вздор мелешь. Это я наверное знаю. Во всяком городе свои угодники почивают – это мне архиманд-

рит Амфилохип говорил. Во Пскове – псковские угодники, в Вильне – виленские… А мне, брат, серьезно есть захотелось. В Луге какая рыба водится?

– Ей-богу, не знаю. Одному только удивляюсь: как это ты, голубчик, минуту помолчать не можешь? И мысли у тебя какие-то всё разные являются: сейчас были угодники, и вдруг – рыба…

– А мне разве заказано? Кабы мне заказано было: думай об одном – я бы и думал. Вон ему, Восцыну, сказано: думай об ватерклозетах – он и думает, к нему в это время не подходи. А мне свободно, об чем хочу, об том и думаю.

– Все-таки иногда не мешало бы…

– Ну тебя! Я еще вон этого, тайного-то советника, к вечеру раззужу, да и об татарине досконально разузнаю: с какой стати свиное ухо с нами в первом классе едет? Смотри-ка! смотри-ка! ведь и он на нас глядит! Смеется! ишь!

Действительно, восточный человек смотрел на нас и улыбался во весь рот. Он даже хлопал ладонью по подушке соседнего места, как бы приглашая Прокопа сесть возле него.

– Станция Луга! двадцать минут остановки! – прокричал кондуктор, проходя мимо нас.

V. Тайна, облекающая личность восточного человека, слегка разъясняется

В Луге, по дороге к вокзалу, меня подхватил под руку тайный советник Стрекоза. Признаюсь, я смутно угадывал, что будет нечто подобное (дальше я расскажу читателю мои отношения к Стрекозе), и порядочно-таки это волновало меня.

– Мы, кажется, с вами знакомы? – спросил он.

– Кажется, – отвечал я.

– Мы пошли разными дорогами, но надеюсь, что это не должно мешать нам взаимно уважать друг друга.

Говоря это, он сжимал своим правым локтем мой левый локоть, а левою рукой взял мою правую руку.

– Признаюсь вам, я уж давно для себя решил: ко всем иметь уважение, кто имеет чин не ниже статского советника. А следовательно, и вы в том числе.

Он усмехнулся, заглянул мне в лицо, пробормотал, как бы про себя: это ирония? – и, не отпуская моей руки, засвистал какой-то мотив.

– Вы мои последние распоряжения читали? – вновь начал он разговор.

– Нет, не читал.

– Не интересуетесь?

– Сами по себе, вероятно, они интересны, но для меня – нет.

– Многие так рассуждают нынче, и оттого у нас ничего не идет. Я не понимаю, как может не интересовать умного человека то, в чем, например, заинтересовано целое государство!

– Что прикажете делать! Это странно и даже малообъяснимо, но это так!

– Вот если бы вы читали, то должны были бы сознаться, что не правы.

– В чем не прав?

– А хоть бы в том, что имеете на меня совершенно неверный взгляд.

– Да помилуйте! что же вам-то до этого? разве вам мой взгляд нужен?

– Даже очень. Я вообще имею нужду в содействии, а в частности, относительно вас есть, кроме того, и еще… Вы, может быть, забыли, но я очень, очень многое помню.

И он вновь сжал мне локоть. Неприятное чувство испытывал я в эту минуту: как будто бог весть откуда взялось мертвое тело и увязалось за мной.

– Как хорошо было двадцать лет тому назад – помните? – воскликнул он и даже рот на мгновение разинул, как бы вдыхая в себя невесть какой аромат.

Я не ответил, но он не сконфузился этим и еще крепче сжал мой локоть.

– Вы были в то время неправы относительно меня, – про-

должал он, – мы когда-нибудь об этом поговорим на досуге. Старых недоразумений не должно быть. Вы куда едете?

Я назвал несколько пунктов.

– Приблизительно, это и мой маршрут. Скажите, что это за чудак, который вас сопровождает?

Я сказал.

– Эти дамы – его жена и дочь?

Стрекоза надел на глаза пенсне и, сжавши губы, внимательно осмотрел Надежду Лаврентьевну и Наташеньку, которые сидели за общим столом и кушали цыпленка, словно играя им.

– Интересные особы, – процедил Стрекоза сквозь зубы, – можно с ними познакомиться?

– Полагаю.

В эту минуту я заметил, что Прокоп, совсем запыхавшись, бежал в нашем направлении, доедая на бегу пирог, кусок которого еще торчал у него во рту.

– Ну, что! говорил я! и вышла моя правда! – кричал он еще издали, махая руками.

Наконец подбежал и торжественно объявил:

– Науматуллу видел.

– Да ты хоть бы говорил толком! – возразил я, едва воздерживаясь от раздражения.

– Из Бель-Вю Науматуллу; он тоже за границу едет – вон с ним, вон с этим… ну, вот что в ермолке у нас в вагоне сидит!

– Ну, и пускай едет. Какое, наконец, нам до этого дело!

– Как какое! Я от Науматуллы узнал про него. Он – принц, братец, только инкогнито.

– Душа моя! это, наконец, утомительно!

– Ты сперва взгляни, а потом говори! Вон они рядом сидят. Науматулла-то уж рассчитался с Бель-Вю, теперь у принца камергером служит.

Как ни глупо все это представлялось, но я невольно взглянул вперед. Действительно, восточный человек сидел за общим столом и пил шампанское, которое Науматулла из Бель-Вю (я тотчас же узнал его) наливал ему.

– Ты вот все бегаешь, – сказал я Прокопу, – теперь еду прозеваешь, а потом будешь жаловаться, что голоден. Садись-ка лучше, ешь.

– Нет, я хочу тебе доказать! хоть я и не отгадчик, а взгляд у меня есть! Псст… псст… – сделал он, кивая головой по направлению к Науматулле.

Науматулла встал, что-то почтительно пошептал восточному человеку, потом налил три бокала, поставил на тарелку и поднес нам.

– Прынец просит здоровья кушать! – сказал он.

Прокоп принял бокал и, выступя несколько вперед, церемониально поклонился. Я и Стрекоза тоже машинально взяли бокалы и некоторое время совсем по-дурацки стояли с ними, не решаясь, пить или не пить. Восточный человек между тем во весь рот улыбался нам.

– Что же это, однако, за принц такой? – спросил Стрекоза

Науматуллу.

– В Эйдкунен – всё будем говорить; в Эйдкунен – всё чисто будем объяснять, – таинственно ответил Науматулла, – а до Эйдкунен – не можем объяснять. Еще шампанского, господа, угодно?

– Да не мятежник ли это какой-нибудь? – усомнился вдруг Прокоп.

– Сказано: в Эйдкунен всё чисто объяснять будем. И больше ничего! – вновь подтвердил Науматулла и исчез, с опорожненными бокалами, в толпе.

– Как же к нему обращаться? чай, титул у него какой-нибудь есть? – обеспокоился Прокоп. – Науматулла, признаться, сказал мне что-то, да ведь его разве поймешь? Заблудащий, говорит, – вот и думай!

– В Эйдкунене узнаем-с, – отозвался Стрекоза.

– Чай, беглый какой-нибудь, – продолжал Прокоп, – ишь, шельма, смелый какой! не боится, так с подлинным обличьем и едет! вот бы тебя к становому отсюда препроводить – и узнал бы ты, где раки зимуют!

– В Вержболове, по всей вероятности, так и поступлено будет, – вновь отозвался Стрекоза.

– И все-таки принц! там как ни дразнись свиным ухом, а и у них, коли принц, так сейчас видно, что есть что-то свыше. Вот кабы он к Наташеньке присватался, я бы его в нашу православную веру перевел… ха-ха! А что ты думаешь! уехали бы все вместе в Ташкент, стали бы новые необременитель-

ные налоги придумывать, двор бы, по примеру прочих принцев, завели, Патти бы выписали…

– Христос с тобой! ведь Ташкент-то уж русский!

– А может, царь и простит, назад велит отдать. Мы против русской империи – ничего, мы – верные слуги; вот коканцы – те мятежники. А мы бумагу такую напишем, чтобы, значит, ни вам, ни нам. Смотри-ка! да никак Науматулла опять с шампанским идет! Постой, я его расспрошу!

Действительно, Науматулла опять стоял перед нами с наполненными бокалами и говорил:

– Вторично прынец велел здоровья кушать! Все будьте здоровы! Кофий, чай, шкалад – кому что угодно, всё спрашивайте! все подавать велено!

– Да кто твой принц! сказывай! – спросил Прокоп, – может, он мятежник?

– В Эйдкунен – всё говорим; до Эйдкунен – ничего говорить не можем!

– Пить ли? – усомнился Прокоп, обращаясь ко мне.

К счастию, звонок прервал все эти вопросы и недоразумения. Мы наскоро выпили шампанское и поспешили в вагон, причем я, на ходу, представил друг другу Стрекозу и Прокопа. Восточный человек был уже на месте, и Прокоп, сказав мне: воля твоя, а я его буду благодарить! – подошел к нему. На что восточный человек ответил очень приветливо, протянув руку на диван и как бы приглашая Прокопа сесть на нее.

Надо отдать справедливость Прокопу, он отнесся к этой

пантомиме довольно недоверчиво и сел поодаль. Затем он попытался завести разговор и, как всегда водится в подобных случаях, даже выдумал совершенно своеобразный язык, для объяснения с восточным человеком.

– Далеко? луан? – спросил он и, для ясности несколько раз махнув рукою в воздухе, показал пальцем в окно.

Восточный человек засмеялся и тоже показал пальцем в окно.

– Дела есть? афер иль я?

Восточный человек продолжал смеяться и показывать пальцем в окно.

– И я тоже туда! е муа осей леба! Только я, брат, без дела – комса!

Очевидно было, однако ж, что восточный человек или не понимал, или упорно притворялся непонимающим. Он только смотрел как-то удивительно весело, раскрыв рот до ушей.

– Не понимаешь? – утомился наконец и Прокоп, – ну, нечего делать, давай так сидеть! друг на дружку смотреть станем!

Начали смотреть друг на друга, и вдруг оба захохотали. За ними захохотали и другие, так что Надежда Лаврентьевна обеспокоилась и выглянула из-за двери.

– Наденька! поди сюда! вот это принц! а это – ма фам! – рекомендовал их друг другу Прокоп.

Надежда Лаврентьевна ничего не понимала и как-то конфузливо оглядывалась. Между тем принц, с ловкостью во-

сточного человека, вскочил с своего места, отвернул полу халата, порылся в кармане штанов и поднес Надежде Лаврентьевне шепталу, держа ее между двумя пальцами.

– Бери! после за окно выбросишь! – разрешил Прокоп недоумение жены своей, – принц ведь он! Ишь ведь, свиное ухо, куда вздумал гостинцы прятать! в штаны!

Однако, как ни мало требователен был Прокоп насчет развлечений, и ему, по-видимому, надоело смотреть на восточного человека и смеяться с ним.

– Будет, брат! – сказал он, – после, ежели еще захочется, – давай и опять смотреться!

А мне, покуда все это происходило, было совсем тяжело, потому что ко мне подсел Стрекоза и самым серьезным образом допрашивал, почему я его не уважаю.

– Из чего вы это заключаете? – отбивался я, как умел.

– Нет, это для меня вопрос решенный: я по глазам вижу. Скажите же, отчего вы меня не уважаете?

Я бился как рыба об лед, стараясь ежели не разуверить, то, по крайней мере, успокоить моего собеседника. Но он не унимался и только видоизменил свой вопрос, представив его, впрочем, в форме, уже известной читателю:

– Вы мои последние распоряжения читали? Не читали? а между тем судите обо мне!

В это время, к моему удовольствию, подошел к нам Прокоп и произнес:

– Черт их знает, эти татара! вот и смеялся, кажется, а

смерть как скучно! Какову он конфетку Надежде Лаврентьев не подарил? заметил?

Наконец начало и темнеть в вагонах. Проехали Псков, отобедали, стали подъезжать к Острову. Все были утомлены, потягивались и зевали; многие пробовали заснуть, но не могли. С полчаса было в вагоне тихо – только слышалось, как восточный человек чавкал шепталу и щелкал миндальные орехи. Потом вдруг все опять заворочалось, стараясь половчее усесться, и вдруг все очутились сидящими прямо и глядящими друг другу в глаза.

– Вот-то, брат, тоска! – произнес Прокоп, – хоть бы сказку кто рассказал!

Тогда мне припомнилось, что генерал обещал рассказать историю о том, как он свел знакомство с чертом, и я немедленно сообщил эту мысль Прокопу.

– А что ж! и прекрасно! может быть, и разгуляемся! Генерал! помнишь, ты ему обещал историю свою рассказать? Вот бы теперь – чего лучше! Господа! будем все просить генерала!

Генерал несколько затруднился, но так как мы все его обступили и в самых почтительных выражениях просили доставить нам своим рассказом живейшее удовольствие, то он наконец согласился. Но прежде нежели приступить к самому рассказу, он встал, расстегнул сюртук, рубашку и фуфайку и показал нам опять ту надпись, которая хранилась у него на груди пониже левого соска и о которой я уже говорил чита-

телю.

– Смотрите, господа! – сказал он взволнованным голосом, – ибо эта печать есть истинный герой предстоящего рассказа!

Затем он высморкался, откашлялся и рассказал нам следующее.[6]

[6] По обстоятельствам осталось неоконченным. – Замечание автора. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)